

Тупейный художник — эпизод 9 из 9

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле, за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

Что такое они говорили, того я, сказывала она, ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп, я и говорю ему:

Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?

А он отвечает:

Это, говорит, они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоянный дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, говорит, горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем.

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется, указала она на мрачные и седые развалины, а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу помяну...

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и помянула, или пососала, но я ее спросил:

А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер, его и за обедней и дьякон и батюшка боярином Аркадием называли и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоянного дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал жив остался и в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в

нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелкнул, так всю позвонцовую кость и растрошил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли, дорогой умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: Давай еще кого бить всех орловских убью.

Ну, а вы же, говорю, на похоронах были или нет?

Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

И прощались с ним?

Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный, говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал... Сколько это он своей крови пролил...

Она умолкла и задумалась.

А вы, говорю, сами после это какво перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

Поначалу не помню, говорит, как домой пришла... Со всеми вместе ведь так, верно, кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:

Ну, так нельзя, ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо ты плачь, чтобы из сердца исток был.

Я говорю:

Не могу, теточка, сердце у меня как уголь горит, и истоку нет.

А она говорит:

Ну, значит теперь плакона не миновать.

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь пососи.

Я говорю:

Не хочется.

Дурочка, говорит, да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом на минуту гаснет. Соси скорее, соси!

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами

туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут. Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее плакончике.

Спасибо, голубчик, не говори: мне это нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальни мама; потом тихонько стукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососет... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.